

Многие называют его крупнейшим из современных писателей. Мало найдется тех, кто в своих вещах у него не учился или ему не подражал.

Сьюзан Зонтаг

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Книга Песка



Азбука Premium

Хорхе Борхес
Книга Песка

«Азбука-Аттикус»

1975

УДК 821.134.2(8)
ББК 84(7Арг)-44

Борхес Х. Л.

Книга Песка / Х. Л. Борхес — «Азбука-Аттикус»,
1975 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-20798-1

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого. В настоящее издание вошли полностью два авторских сборника: «Сообщение Броуди» и «Книга Песка», а также изящный фантастический рассказ «Память Шекспира». В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.134.2(8)
ББК 84(7Арг)-44

ISBN 978-5-389-20798-1

© Борхес Х. Л., 1975
© Азбука-Аттикус, 1975

Содержание

Сообщение Броуди	6
Предисловие	6
Непрошенная	8
Недостойный	11
История Росендо Хуареса	15
Встреча	18
Хуан Муранья	21
Старшая сеньора	24
Поединок	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Хорхе Луис Борхес

Книга Песка

Jorge Luis Borges

EL INFORME DE BRODIE

Copyright © 1995, María Kodama

EL LIBRO DE ARENA

Copyright © 1995, María Kodama

LA MEMORIA DE SHAKESPEARE

Copyright © 1995, María Kodama

All rights reserved

© Вс. Е. Багно, перевод, 1990, 2001

© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2021

© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2000

© Е. М. Лысенко (наследник), перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

Сообщение Броуди

Предисловие

Большие вещи позднего Кипплинга – это лабиринты и кошмары, которые не уступят романам Кафки и Джеймса, мало того, бесспорно их превзойдут; но намного раньше, году в тысяча восемьсот восемьдесят пятом, он взялся в Лахоре за серию бесхитростных коротких рассказов, а в тысяча восемьсот девяностом собрал их в книгу. Многие из них – «In the House of Suddhoo», «Beyond the Pale», «The Gate of the Hundred Sorrows»¹ – вещи, при всей краткости, мастерские. Но если это сумел придумать и сделать одаренный юноша, то почему бы – пришло мне однажды в голову – его находку, не впадая в нескромность, не повторить человеку, подступившему к границам старости и знающему свое ремесло? В результате возник этот том, судить о котором предоставляю читателям.

Я задумывал (получилось ли, не знаю) книгу рассказов без особых хитростей. Вместе с тем не рискну утверждать, что они просты, как не просты на земле ни одна страница, ни одно слово, поскольку подразумевают мир, чье самое очевидное свойство, по всей вероятности, – сложность. Об одном хотел бы предупредить: я не занимаюсь и никогда не занимался тем, что прежде называли баснословием или притчами, а сегодня именуют литературой идей. Роль Эзопа не по мне. Мои рассказы, как истории «Тысячи и одной ночи», стремятся увлечь и трогать, а не убеждать. Отсюда вовсе не следует, будто я затворился (как сказал бы царь Соломон) в башне из слоновой кости. Мои убеждения в том, что касается политики, вполне известны; я состою в Консервативной партии, иными словами, исповедую скептицизм, и никто еще не причислял меня к коммунистам, националистам, антисемитам и приверженцам Черного Муравья или Росаса. Думаю, со временем государство как таковое исчезнет. Своих взглядов я никогда, даже в самые трудные годы, не скрывал, но и не позволял им вторгаться в написанное, кроме единственного раза, когда восхищение событиями Шестидневной войны оказалось сильнее меня. Однако занятия литературой – дело таинственное, намерения тут мало что значат, и прав скорее Платон, говоривший о Музе, чем По, убеждавший или пытавшийся убедить, будто писание стихов подчиняется интеллектуальному расчету. Не перестаю удивляться тому, что классики стоят в этом вопросе на романтических позициях, тогда как поэт-романтик – на классических.

За исключением заглавного текста моей книги, явно восходящего к последнему путешествию Лемюэля Гулливера, остальные рассказы попадают, говоря новейшим языком, в категорию реалистических. Надеюсь, в них соблюдены все условности жанра, который не менее условен, чем прочие, и от которого так же быстро устаешь, если не устал уже давным-давно. Они, как положено, изощряются в придумывании деталей действия, блестящие примеры чего легко найти в англосаксонской балладе о Мэлдоне и позднейших исландских сагах. Два рассказа – не буду говорить какие – можно прочесть и в фантастическом ключе, он у них одинаковый. Некоторые сюжеты уже не раз донимали меня на протяжении многих лет; что поделаешь, я однообразен.

Общей фабулой рассказа «Евангелие от Марка», по-моему лучшего в книге, я обязан одному из снов Уго Рамиреса Морони; боюсь, я испортил дело добавками, которые нашли нужным внести в него моя фантазия или рассудок. В конце концов, литература – всего лишь управляемое сновидение.

¹ «В доме Садху», «За оградой», «Врата Ста Печалей» (англ.).

Я отказался от сюрпризов барочного стиля и тех, которые обыкновенно сулит внезапная развязка. В общем, я предпочел подготовить и ожидания читателей, и их удивление. Многие годы мне казалось, что с помощью вариаций и новшеств я когда-нибудь сумею написать хотя бы единственную безупречную страницу; к семидесяти годам я, кажется, нашел свой голос. Никакая работа над словом не ухудшит и не улучшит написанного, разве что несколько облегчит тяжеловесное рассуждение или чуть смягчит высокопарность. Каждый язык – это традиция, каждое слово – общий символ, и вклад любого новатора здесь ничтожен; вспомним блестящего, но чаще всего нечитаемого Малларме, вспомним Джойса. Впрочем, не исключено, что эти мои резоннейшие резоны – всего лишь результат усталости. Немалый возраст вынудил меня так или иначе смириться с участью Борхеса.

Храня беспристрастие, я оставляю без внимания и «Словарь Королевской академии», dont chaque édition, по меланхолическому заключению Груссакса, fait regretter la précédente², и неподъемные словари аргентинизмов. Все они, независимо от того, по какую сторону океана вышли, подчеркивают различия, а значит, разрушают испанский язык. Вспоминаю реплику Роберто Арльта, когда ему бросили в лицо, что он не знает лунфардо: «Я рос на Вилья Луро, среди бедняков и бандитов, у нас не было времени на эти штуки». В самом деле, лунфардо – это литературная забава, изобретенная авторами бульварных комедий и сочинителями танго; жителям окраин он неизвестен, разве что их просветили на сей счет граммофонные пластинки.

Действие моих рассказов происходит на некотором отдалении от нас – и во времени, и в пространстве. Так воображение чувствует себя свободней. Кто в тысяча девятьсот семидесятых годах с точностью вспомнит, какими были в конце прошлого века кварталы Палермо или Ломаса? И все же, как ни странно, находятся аккуратисты, которые с полицейской дотошностью выискивают микроскопические отклонения. Скажем, они замечают, что Мартин Фьерро говорит о сумке игральные кости, а не о мешке, и корят автора – скорей всего несправедливо – за розово-соловую масть прославленного коня.

Храни тебя Господь от длинных предисловий, читатель. Цитирую Кеведо, который, дабы не впасть в анахронизм, каковых и без того со временем обнаружат в избытке, никогда не читал предисловий Шоу.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 19 апреля 1970 г.

² Каждое новое издание которого заставляет скорбеть о прежних (*фр.*).

Непрошенная

2 Цар. 1: 26

Говорят (хотя вряд ли так было на самом деле), что эту историю слышали от Эдуардо, младшего из Нельсонов, в ночь, когда бодрствовали у гроба Кристиана, старшего, скончавшегося в тысяча восемьсот девяностых годах в округе Морон. Наверное, кто-то действительно рассказал ее в ту долгую печальную ночь, потягивая мате, а кто-то еще пересказал Сантьяго Дабове, от которого я ее знаю. Несколько лет спустя я снова услышал ее в Турдере – там, где она случилась. Вторая версия, несколько более подробная, в целом совпадала с рассказом Сантьяго – с небольшими и вполне обычными в таких случаях вариациями и расхождениями. Хочу записать ее, потому что, если я не обманываюсь, в ней сжато и трагично отразился нрав окраинных жителей старых времен. Постараюсь передать ее верно, хотя боюсь, что могу поддаться писательскому искушению что-то подчеркнуть или добавить какую-нибудь деталь.

В Турдере их звали Нильсенами. Приходской священник сказал мне, что его предшественник однажды, не скрывая удивления, упомянул о потрепанной Библии в черном переплете с готическим шрифтом, которую видел в доме этих людей; на последних страницах он с трудом разобрал написанные от руки имена и даты. Это была единственная книга во всем доме. Случайная хроника семейства Нильсен, затерявшаяся, как теряется все. Большой нескладный дом, которого уже нет, был кирпичным, неоштукатуренным; из прихожей видны были два патио, одно выложенное цветной плиткой, другое – попросту земляное. Впрочем, там бывали немногие; Нильсены оберегали свое одиночество. В необжитых комнатах они спали на простых койках; роскошь братья видели в другом – конь, богатое седло, кинжал с коротким клинком, пышный наряд по субботам и забористая выпивка. Насколько мне известно, они были рослые, с рыжеватой шевелюрой. Дания или Ирландия, о которых они никогда не упоминали, оставила свой след в крови этих двух креолов. В квартале побаивались рыжих братьев; вполне вероятно, что на их совести была по крайней мере одна смерть. Однажды они плечом к плечу сражались против полиции. Говорят, что в стычке с Хуаном Иберрой младший из Нильсенов показал себя неплохим бойцом, а это, по мнению людей сведущих, уже много. Они торговали скотом, умело управлялись с лошадьми, промышляли конокрадством и были заядлыми картежниками. Братья слыли скупыми во всем, что не касалось выпивки и игры. Ни об их родне, ни о том, откуда они появились, ничего не было известно. Нильсены владели повозкой и упряжкой волов.

Внешностью они отличались от своих дружков, в честь которых местность получила название Берег Удальцов. Это да еще то, чего мы не знаем, помогает понять, насколько они были едины. Поссориться с одним из них значило нажать себе двух врагов.

Нильсены были гуляки, но их любовные приключения до сих пор ограничивались случайными связями либо посещениями дома терпимости. Поэтому, когда Кристиан привел к себе в дом Хулиану Бургос, в квартале начались пересуды. Правда, ей отводилась роль служанки, но правда и то, что он покупал ей дешевые украшения и водил на гулянки, убогие гулянки по соседству, где драка и поножовщина запрещались и где танцы все еще были в радость. Хулиана была смугла лицом, с широко распахнутыми глазами, стоило только взглянуть на нее, как она улыбалась. В небогатом квартале, где женщины быстро старятся от непосильного труда, она казалась красоткой.

Сначала Эдуардо ходил вместе с ними. Потом поехал в Арресифес, по каким делам, мне неизвестно, и вернулся с девушкой, которую подобрал по дороге, а через несколько дней бросил ее. Он сделался угрюм. В альмасене напивался в одиночку, ни с кем не общался. Он был влюблен в женщину Кристиана. В квартале, где, скорее всего, это поняли раньше, чем он сам, злобно наблюдали за тайным соперничеством братьев.

Однажды, вернувшись поздно вечером из альмасена, Эдуардо увидел у коновязи вороного коня Кристиана. Старший брат в своем лучшем наряде ждал младшего в патио. Появилась женщина, принесла мате и исчезла. Кристиан сказал:

– Я собираюсь на пирушку к Фариасу. Вот тебе Хулиана; если хочешь, пользуйся.

Это был не то приказ, не то дружеский совет. Эдуардо какое-то время смотрел на брата, не зная, как быть. Кристиан поднялся, попрощался с Эдуардо, не с Хулианой – она была вещью, – вскочил на коня и не спеша поехал рысцой.

С этой ночи они делили ее. Никто не знал подробностей этого непристойного союза, оскорблявшего нравы слободы. Договор просуществовал несколько недель, но дольше так продолжаться не могло. В разговорах друг с другом братья не произносили имени Хулианы, они даже не обращались к ней по имени, но все время искали и находили поводы для разногласий. Они могли спорить по поводу продажи кож, хотя дело было вовсе не в этом. Кристиан обычно повышал голос, и Эдуардо смолкал. Они ревновали, сами того не сознавая. В этих суровых краях мужчина не говорит, что какая-то женщина что-то значит для него, женщину можно желать и можно обладать ею, но оба брата были влюблены. И это каким-то образом унижало их.

Однажды вечером на площади Ломас Эдуардо столкнулся с Хуаном Иберрой, который поздравил его с тем, как он ловко устроился. Видимо, именно тогда Эдуардо ранил его. Никто при нем не смеет насмехаться над Кристианом.

Женщина повиновалась братьям с животной покорностью, но все же предпочитала младшего, который хотя и не мог не пользоваться сложившейся ситуацией, но она его смущала.

Как-то раз Хулиане приказали принести два стула в первое патио и не показываться там, потому что братья должны поговорить. Она подумала, что разговор продлится долго, и прилегла поспать во время сиесты, но ее тут же разбудили. Приказали собрать в мешок все ее добро, в том числе стеклянные четки и крестик, которые достались ей от матери. Ничего не объясняя, ее посадили в повозку и в угрюмом молчании тронулись в путь. Шел дождь; дорогу развезло, они добрались до Морона около пяти утра. Там Хулиану продали хозяйке дома терпимости. Договор существовал заранее; Кристиан взял деньги, потом разделил их с братом.

В Турдере Нильсены, до того времени поглощенные хитросплетениями (уже привычными) этой чудовищной любви, пытались возобновить прежнюю жизнь мужчин среди мужчин. Они вернулись к игре на бильярде, дракам, снова участвовали в пирушках. Иногда братьям казалось, что все позади, но каждый из них то и дело отлучался – по каким-то важным причинам или вовсе без причины. Незадолго до конца года младший объявил, что у него дела в столице. Кристиан поехал в Морон; у коновязи знакомого дома он увидел солового коня Эдуардо. Вошел; брат дожидался своей очереди. Кристиан, кажется, сказал:

– Если так пойдет, мы загоним коней. Пусть уж лучше она будет под рукой.

Переговорил с хозяйкой, достал монеты из пояса, и они увезли ее. Хулиана ехала со старшим братом, а Эдуардо прищипоривал своего солового, чтобы не видеть их.

Все пошло по-прежнему. Постыдное решение потерпело крах; обоим братьям пришлось обманывать друг друга. Дух Каина витал в доме, но любовь братьев друг к другу была велика – кто знает, какие трудности и опасности им пришлось преодолеть! – и они предпочитали отводить душу на чужих. На незнакомце, на собаках, на Хулиане, которая и была виновницей раздора.

Март подходил к концу, стояла жара. Однажды в воскресенье (по воскресеньям люди обычно расходятся рано) Эдуардо, вернувшись из альмасена, увидел, что Кристиан запрягает волов. Кристиан сказал ему:

– Пошли, нужно отвезти кожи к Пардо, я уже погрузил их, поедем по холодку.

Магазин Пардо был, как мне кажется, несколько к югу; они поехали по дороге к Тропас, потом свернули. В сумерках равнина казалась огромной.

Они ехали по краю жнивья. Кристиан бросил дымившуюся сигару и неторопливо произнес:

– За работу, брат. Потом нам помогут хищные птицы. Сегодня я убил ее. Пусть остается здесь со всем своим добром. Больше от нее вреда не будет.

Они обнялись, чуть не плача. Теперь их связывали новые узы: женщина, с горечью принесенная в жертву, и необходимость забыть ее.

Недостойный

Наше представление о городе всегда несколько анахронично: кафе успело выродиться в бар, а подъезд, сквозь арки которого можно было разглядеть внутренние дворики и беседку, превратился в грязноватый коридор с лифтом в глубине. Так, я несколько лет считал, что в определенном месте улицы Талькауано меня ждет книжный магазин «Буэнос-Айрес», но однажды утром убедился, что его сменила антикварная лавка, а дон Сантьяго Фишбейн, прежний владелец, умер. Он был довольно толстым... Я помню не столько черты его лица, сколько наши долгие разговоры. Уравновешенный и основательный, он имел обыкновение порицать сионизм, который превращает еврея в человека заурядного, привязанного к одной традиции и одной стране, лишенного тех сложностей и противоречий, которые сейчас обогащают его. Это он сказал мне, что готовится довольно полное издание работ Баруха Спинозы, без всей этой евклидовой терминологии, затрудняющей чтение и придающей фантастической теории мнимую строгость. Он показывал, но не захотел продать мне любопытный экземпляр «Приоткрытой каббалы» Розенрота, однако на некоторых книгах Гинзбурга и Уэйта из моей библиотеки стоит штамп его магазина.

Как-то вечером, когда мы сидели вдвоем, он поведал мне эпизод из своей жизни, который теперь можно пересказать. Я лишь изменю, как можно догадаться, некоторые подробности.

«Я собираюсь рассказать вам историю, которая не известна никому. Ни Ана, моя жена, и никто из самых близких друзей не знают ее. Это произошло так давно, что будто и не со мной. Вдруг эта история пригодится для рассказа, в котором у вас, несомненно, без кинжалов не обойдется. Не помню, говорил ли я вам когда-нибудь, что я из провинции Энтре-Риос. Не скажу, что мы были еврей-гаучо, гаучо-евреев не бывает вовсе. Мы были торговцами и фермерами. Я родился в Урдинарраине, который почти не сохранился в моей памяти; когда мои родители переехали в Буэнос-Айрес, чтобы открыть лавку, я был совсем мальчишкой. Неподалеку от нас находился квартал Мальдонадо, дальше шли пустыри.

Карлейль писал когда-то, что люди не могут жить без героев. Курс истории Гроссо предлагал мне культ Сан-Мартина, но я видел в нем лишь военного, который когда-то воевал в Чили, а теперь стал бронзовым памятником и названием площади. Случай столкнул меня с совсем иным героем – с Франсиско Феррари, к несчастью для нас обоих. Должно быть, вы слышите это имя впервые.

Хотя наш квартал не пользовался сомнительной славой, как Корралес и Бахо, но и здесь в каждом альмасене была своя компания завсегдатаев. Заведение на углу Триумвирата и Темзы было излюбленным местом Феррари. Там-то и произошел случай, сделавший меня одним из его приверженцев. Я собирался купить четвертушку чая. Появился незнакомец с пышной шевелюрой и усами и заказал можжевелевой водки. Феррари мягко спросил его:

– Скажи-ка, не с тобой ли мы виделись позавчера вечером на танцах у Хулианы? Ты откуда?

– Из Сан-Кристобаля, – отвечал тот.

– Мой тебе совет, – проникновенно продолжал Феррари, – больше сюда не ходи. Здесь есть люди непорядочные, как бы они не устроили тебе неприятности.

И тот, из Сан-Кристобаля, убрался вместе со своими усами. Возможно, он был не трусливей Феррари, но понимал, что здесь своя компания.

С этого вечера Феррари стал тем кумиром, которого жаждали мои пятнадцать лет. Он был темноволос, высок, хорошо сложен, красив – в стиле того времени. Одевался всегда в черное. Другой случай свел нас. Я шел по улице с матерью и теткой. Мы поравнялись с компанией подростков, и один из них громко сказал:

– Дайте пройти этим старухам.

Я не знал, что делать. Тут вмешался Феррари, который вышел из дома. Он встал перед заводилой и сказал ему:

– Если тебе надо привязаться к кому-нибудь, давай лучше ко мне.

Они ушли гуськом, друг за другом, и никто не произнес ни слова. Они знали его.

Он пожал плечами, поклонился нам и пошел дальше. Перед тем как уйти, он обратился ко мне:

– Если ты свободен, приходи вечером в забегаловку.

Я остолбенел. Сара, моя тетка, изрекла:

– Вот кабальеро, который относится к женщинам с почтением.

Мать, чтобы выручить меня, заметила:

– Вернее было бы назвать его парнем, которому не хочется походить на других.

Я не знаю, как объяснить происшедшее. Сейчас я нажил кое-какое состояние, у меня магазин и книги, которые мне нравятся, мне доставляют радость дружеские связи, подобные нашей, у меня жена и дети, я вступил в социалистическую партию, я порядочный аргентинец и порядочный еврей. Я уважаемый человек. Вы видите, я почти лыс, а тогда я был бедным рыжим паренком с окраины. Люди смотрели на меня свысока. Как и все в юности, я старался быть похожим на остальных. Я стал называть себя Сантьяго, чтобы не быть Якобом, но остался Фишбейном. Мы кажемся себе такими, какими видят нас другие. Я ощущал презрение окружающих и сам презирал себя. В те времена и особенно в той среде много значило быть храбрым, я же считал себя трусом. Женщины внушали мне робость, я тайне стыдился своего вынужденного целомудрия. Друзей-ровесников у меня не было.

Я не пошел в альмасен в тот вечер. И лучше бы не ходил совсем. Но постепенно мне стало казаться, что приглашение было приказом; в субботу после обеда я вошел в зал.

Феррари сидел во главе одного из столов. Остальных, их было человек семь, я встречал раньше. Феррари был старшим, если не считать старого человека, неразговорчивого, с усталым голосом, чье имя единственно уцелело в моей памяти: дон Элисео Амаро. Шрам пересекал его лицо, широкое и обрюзгшее. Потом мне сказали, что он побывал в тюрьме.

Феррари усадил меня по левую руку; дону Элисео пришлось подвинуться. Мне было не по себе. Я опасался, что Феррари может упомянуть о том неприятном случае. Ничего подобного; они говорили о женщинах, о карточной игре, о выборах, о певце, который должен был выступить, но не приехал, о событиях в квартале. Поначалу им было трудно принять меня, но потом они привыкли, потому что этого хотел Феррари. Хотя фамилии их были по большей части итальянские, каждый считал себя (и его считали) креолом и даже гаучо. Кое-кто из них был возчиком или работал на бойне; общение с животными делало их похожими на крестьян. Подозреваю, что самым заветным желанием каждого было стать вторым Хуаном Морейрой. В конце концов они дали мне прозвище Рыжий, но в нем не было презрения. У них я выучился курить и многому другому.

В одном доме на улице Хунин меня как-то спросили, не друг ли я Франсиско Феррари. Я сказал, что нет, сочтя утвердительный ответ похвалой.

Однажды явились полицейские и обыскали нас. Некоторым пришлось идти в комиссариат; Феррари не тронули. Недели через две повторилось то же самое, но на этот раз увели и Феррари, потому что у него за поясом был нож. А может быть, он потерял расположение местного начальства.

Сейчас я вижу в Феррари бедного юношу, которого обманули и предали; тогда он казался мне Богом.

Дружба не менее таинственна, чем любовь или какое-нибудь другое обличье путаницы, именуемой жизнью. Мне однажды пришло в голову, что нетаинственно только счастье, потому что оно служит оправданием само себе. Дело было в том, что Франсиско Феррари, смелый и сильный, питал дружеские чувства ко мне, изгою. Мне казалось, что произошла ошибка и что

я недостойн этой дружбы. Я пытался уклониться, но он не позволил. Мое смятение усугублялось неодобрением матери, которая не могла примирить мои поступки с тем, что она именовала моралью и что вызывало у меня насмешку. Главное в этой истории – мои отношения с Феррари, а не совершенная подлость, в которой я сейчас и не раскаиваюсь. Пока длится раскаяние, длится вина.

Старик, который снова сидел рядом с Феррари, о чем-то тихо с ним говорил. Они что-то замыслили. Со своего места за столом я, кажется, разобрал имя Вайдеманны, чья ткацкая фабрика находилась неподалеку от нашего квартала. Вскоре мне без всяких объяснений было велено обойти кругом фабрики и хорошенько изучить все входы. Вечерело, когда я перешел ручей и железнодорожные пути. Мне вспоминаются одиночные дома, заросли ивняка и пустыри. Фабрика была новая, но выглядела заброшенной и стояла на отшибе; красный цвет ее стен сливается в моей памяти с закатным небом. Вокруг фабрики шла ограда. Кроме главного входа, было еще две двери на южной стороне, которые вели прямо в помещения.

Должен признаться, я поздно понял то, что вам уже ясно. Мои сведения о фабрике подтвердил один из парней, у которого там работала сестра. Отсутствие компании в альмасене в субботу вечером не осталось бы незамеченным, и Феррари решил, что налет произойдет в следующую пятницу. Мне досталось караулить. Пока нас не должны были видеть вместе. Когда мы оказались на улице вдвоем, я спросил Феррари:

– Ты доверяешь мне?

– Да, – ответил он. – Я знаю, ты поведешь себя достойно мужчины.

Я спокойно спал и эту ночь, и после. В среду я сказал матери, что поеду в центр смотреть новый ковбойский фильм. Я оделся в самое лучшее, что у меня было, и отправился на улицу Морено. Трамвай тащился долго. В полицейском управлении мне пришлось ждать, пока наконец один из служащих, некий Эальд или Альт, не принял меня. Я сказал, что пришел с секретным сообщением. Он ответил, что я могу говорить смело. Я раскрыл ему, что задумал Феррари. Меня удивило, что это имя ему незнакомо; не то что имя дона Элисео.

– А! – сказал он. – Этот из шайки квартала Ориенталь.

Он позвал другого офицера, ответственного за наш район, и они стали совещаться. Один из них не без издевки спросил:

– Ты пришел донести, потому что считаешь себя порядочным гражданином?

Я почувствовал, что он не поймет меня, и ответил:

– Да, сеньор. Я порядочный аргентинец.

Мне велели выполнять то, что было поручено, но не свистеть при виде приближающихся полицейских. Прощаясь, один из офицеров предостерег меня:

– Будь осторожен. Знаешь, что бывает с теми, кто стукнет.

Полицейские развлекались со мной, как школьники. Я ответил:

– Пускай бы меня убили. Это было бы лучше всего.

С рассвета пятницы я чувствовал радость, что настал решающий день, и угрызения совести, оттого что не ощущал угрызений совести. Время тянулось долго. Я почти ничего не ел. В десять вечера мы все вместе пошли к кварталу, где находилась злополучная фабрика. Одного из нас не было; дон Элисео заметил, что всегда кто-нибудь подведет. Я подумал, что после во всем обвинят того, кто не пришел. Только что кончился дождь. Я боялся, что кто-нибудь станет со мной, но меня поставили одного у двери на южной стороне. Вскоре появились полицейские и с ними офицер. Они шли пешком, без лошадей, чтобы не привлекать внимания. Дверь была взломана, так что они смогли проникнуть внутрь без шума. Меня оглушили четыре выстрела. Я решил, что внутри, в темноте, они поубивали друг друга. Тут я увидел выходящих полицейских и парней в наручниках. Потом двое полицейских проволокли прошитых пулями Франсиско Феррари и дона Элисео Амаро. На предварительном следствии говорилось, что они оказали сопротивление при аресте и первыми открыли огонь. Я знал, что это ложь, потому что

никогда не видел у них револьвера. Полиция воспользовалась случаем свести старые счета. Потом мне сказали, что Феррари пытался бежать, но одной пули оказалось достаточно. Газеты, разумеется, изобразили его героем, каким он, наверное, никогда не был и о каком я мечтал.

Меня забрали вместе с остальными и через некоторое время выпустили».

История Росендо Хуареса

Было одиннадцать вечера. Я вошел в альмасен на пересечении улиц Боливара и Венесуэлы, где теперь бар. Из угла меня окликнул человек. В его манере было что-то властное, во всяком случае, я сразу повиновался. Он сидел за одним из столиков перед пустой рюмкой, и я почему-то решил, что он здесь давно. Он был среднего роста, похож на простого ремесленника или крестьянина прежних времен. Его негустые усы были с проседью. Недоверчивый, как все столичные жители, он не расстался с шарфом. Он пригласил меня выпить. Я сел, и мы разговорились. Это было в тридцатые годы.

Человек сказал:

– Вы обо мне только слышали, но я-то вас знаю, сеньор. Я Росендо Хуарес. Покойный Паредес рассказывал вам обо мне. У старика были свои причуды; он любил приврать, и не затем, чтобы обмануть, а чтобы развлечь людей. Сейчас, когда нам обоим нечего делать, я расскажу, что на самом деле произошло в ту ночь. Ночь, когда был убит Резатель. Вы, сеньор, описали это в рассказе, которого я не в состоянии оценить, но хочу, чтобы вы знали правду, а не только вранье.

Он помолчал, как бы припоминая, и продолжал:

– Бывают вещи, которые понимаешь с годами. То, что случилось в ту ночь, началось давно. Я вырос в квартале Мальдонадо, за Флорестой. Это никчемная дыра, которую, к счастью, почистили. Я всегда считал, что прогресса не остановить. Ну а где родиться – не выбираешь. Мне так никогда и не удалось узнать имени отца. Моя мать, Клементина Хуарес, достойная женщина, зарабатывала на хлеб глажением. Мне кажется, она была из Энтре-Риос или с востока, во всяком случае, она упоминала о родне в городке Консепсьон-дель-Уругвай. Я рос как трава. Выучился драться на палках. Тогда нам еще не нравился футбол, его считали английской выдумкой.

Однажды вечером в альмасене ко мне привязался парень, Гармендиа. Я не отвечал, но он был пьян и не отставал. Мы вышли; уже с тротуара он крикнул в приоткрытую дверь:

– Погодите, я сейчас вернусь!

Нож у меня был с собой; мы шли к берегу ручья, медленно, не спуская друг с друга глаз. Гармендиа был на несколько лет старше; мы не раз дрались, и я чувствовал, что он собирается прирезать меня. Я шел по правой стороне проулка, он – по левой. Он споткнулся о кучу мусора. Только он покачнулся, я бросился на него не раздумывая. Я разбил ему лицо, мы сцепились; в такие минуты может случиться что угодно; в конце концов я ножом нанес ему удар, который оказался решающим. И только потом почувствовал, что он тоже поранил меня, легонько царапнул. В эту ночь я понял, что убить человека нетрудно, и еще узнал, как это делается. Ручей был далеко внизу; чтобы не терять времени, я спрятал убитого за кирпичной печью. По глупости я забрал перстень, который он обычно носил. Надел его, надвинул шляпу и вернулся в альмасен. Не спеша вошел и сказал:

– Похоже, что вернулся-то я.

Я заказал стакан водки, он был мне необходим. Тут кто-то обратил мое внимание на пятно крови.

Всю ночь я проворочался на раскладушке и не заснул до утра. Когда зазвонили к службе, за мной пришли двое полицейских. Покойная мама, бедняжка, расплакалась во весь голос. Они потащили меня, как преступника. Два дня и две ночи мне пришлось просидеть в одиночке. Никто не приходил навестить меня, только Луис Ирала, верный друг, но ему не дали разрешения. Как-то утром полицейский инспектор велел привести меня. Он сидел развалясь на стуле и, не глядя на меня, спросил:

– Так это ты отправил на тот свет Гармендиа?

– Если вы так говорите... – ответил я.

– Меня следует называть «сеньор». Тебе нет смысла отказываться и запираяться. Вот показания свидетелей и перстень, найденный у тебя дома. Подписывай сразу признание.

Он обмакнул перо в чернильницу и протянул мне.

– Дайте подумать, сеньор инспектор, – догадался я попросить.

– Я даю тебе двадцать четыре часа, чтобы ты подумал хорошенько в одиночке. И не буду тебя торопить. Если не образумишься, окажешься на улице Лас-Эрас.

Легко себе представить, что я не понял, что к чему.

– Если согласишься, просидишь всего несколько дней. Потом тебя выпустят, и дон Николас Паредес заверил меня, что уладит твоё дело.

Дней оказалось десять. В конце концов они договорились со мной.

Я подписал, что они хотели, и один из охранников отвел меня на улицу Кабрера.

У коновязи стояли лошади, у дверей и внутри толпилось людей больше, чем в борделе. Это оказался комитет. Дон Николас, который пил мате, наконец принял меня. Не торопясь он объяснил, что пошлет меня в Морон, где идет подготовка к выборам. Он направлял меня на пробу к сеньору Лаферреру. Письмо написал юноша в черном, сочинявший стихи, в которых, как я услышал, речь шла о домах для престарелых и о гнусности, темах, не представляющих интереса для просвещенной публики. Я поблагодарил его и вышел. Стражник уже испарился.

Все вышло к лучшему. Провидение ведаёт, что творит. Смерть Гармендиа, которая поначалу так тяготила меня, теперь открывала мне путь. Конечно, власти держали меня в кулаке. Если бы я не служил партии, меня бы засадили, но я не жалел сил, и мне доверяли.

Сеньор Лаферрер предупредил меня, чтобы я вел себя как положено и что я стану его телохранителем. Я делал то, чего от меня ждали. В Мороне и позже, в квартале, я заслужил доверие начальства. Полиция и партия создали мне славу отчаянного; я играл важную роль на выборных подмостках столицы и провинции. Выборы прежде были недолгие. Мне не хочется вас утомлять, сеньор, описанием кровавых происшествий. Я всегда терпеть не мог радикалов, которые все продолжают цепляться за своего Алема. Меня уважал каждый. Я завел женщину, Луханеру, и прекрасную рыжую, с красивым отливом лошади. Годами я изображал Морейру, как в свое время каждый второй гаучо. Развлекался картами и полынной настойкой.

Мы, старики, как разболтаемся – не остановишь, но я приближаюсь к тому, о чем собирался рассказать. Не знаю, упоминал ли я уже о Луисе Ирале. Друге, каких мало. Он был уже в годах, но никакой работы не боялся и любил меня. И ни с какими комитетами в жизни не связывался. Зарабатывал на жизнь ремеслом столяра. Ни к кому не лез и не позволял никому лезть к себе. Однажды утром он зашел ко мне и сказал:

– Пришел рассказать тебе, что от меня ушла Касильда. Ее увел Руфино Агилера.

С этим типом я уже сталкивался в Мороне. Я ответил:

– Да я его знаю. Он не самый худший из семейства Агилера.

– Худший или нет, ему придется иметь дело со мной.

Я подумал и сказал:

– Никто у тебя ничего не отнял. Если Касильда ушла от тебя, значит она любит Руфино, а ты ей безразличен.

– А что скажут люди? Что я трус?

– Мой тебе совет: не впутывайся в историю из-за того, что могут сказать люди, и из-за женщины, которая уже не любит тебя.

– Мне до нее нет дела. Мужчина, который больше пяти минут думает о женщине, не мужчина, а тряпка. У Касильды нет сердца. В последнюю ночь, когда мы были вместе, она сказала, что я старею.

– Она сказала правду.

– Правда ранит. Кто мне сейчас нужен, так это Руфино.

– Смотри. Я видел его в деле на выборах в Мерло. Он смельчак.

– Думаешь, я боюсь?

– Я знаю, что ты не боишься, но подумай хорошенько. Одно из двух: либо ты убьешь и загремишь в тюрьму, либо он тебя убьет и ты отправишься на кладбище.

– Пускай! А как бы ты поступил на моем месте?

– Не знаю, но я примером служить не могу. Чтобы избежать тюрьмы, я сделался вышибалой в комитете.

– Я не буду вышибалой ни в каком комитете, мне нужно расквитаться.

– Значит, ты станешь рисковать своим спокойствием из-за неизвестно кого и женщины, которую уже не любишь?

Он больше не слушал и ушел. На другой день стало известно, что он задел Руфино в магазине в Мороне и что Руфино убил его.

Он шел на смерть, и его убили, честно, один на один. Я дал ему дружеский совет, но чувствовал себя виноватым.

Через несколько дней после похорон я пошел на петушинные бои. Они мне никогда особо не нравились, но в это воскресенье было просто тошно. Проходя мимо этих птиц, я пожелал им лопнуть.

В ночь, о которой я рассказываю, вернее, в ночь, на которой мой рассказ кончается, я договорился с приятелями пойти на танцы у Парды. Сколько лет прошло, а я и сейчас помню цветастое платье моей подруги. Веселились под открытым небом. Не обошлось и без шумных пьяниц, но я позаботился, чтоб все шло, как Бог велит. Двенадцати не было, когда явились чужаки. Один, которого звали Резатель и который был предательски убит той же ночью, заказал для всех выпивку. Ему хотелось воспользоваться случаем и показать, что мы с ним оба из одного теста. Но он что-то замыслил: подошел ближе и стал меня нахваливать. Сказал, что он с Севера, что туда дошли слухи обо мне. Я не мешал ему говорить, но начал подозревать неладное. Он не переставая пил можжевелевую, может быть, чтобы придать себе храбрости, и в конце концов вызвал меня драться. И тут случилось то, чего никто не хочет понять. В этом шальном задире я увидел себя, как в зеркале, и меня охватил стыд. Страх не было; если бы я боялся, наверное, полез бы в драку. Я остался стоять как ни в чем не бывало. Он, придвинувшись еще ближе, крикнул, чтобы всем было слышно:

– Вот и видно, что ты трус!

– Пускай, – сказал я. – Я не боюсь прослыть трусом. Можешь добавить, если нравится, что ты оскорбил мою мать и опозорил меня. Ну что, полегчало?

Луханера вытащила нож из-под жилета, я обычно носил его там, и в гневе вложила мне его в руку, сказав:

– Росендо, я думаю, он тебе понадобится.

Я бросил нож и не торопясь вышел. Люди в изумлении расступались. Мне не было дела до того, что они думают.

Чтобы покончить с этой жизнью, я бежал в Восточную Республику, где стал возчиком. После возвращения поселился здесь. Сан-Тельмо всегда был тихим кварталом.

Встреча

Сусане Бомбаль

Пробегая утренние газеты, в них ищут забытые или темы для случайного вечернего разговора, поэтому стоит ли удивляться, что никто уже не помнит – а если и помнит, то как сон – о нашумевшем когда-то происшествии, героями которого были Манеко Уриарте и Дункан. Да и случилось это году в тысяча девятьсот десятом, году кометы и столетия Войны за независимость, а все мы с тех пор слишком многое обрели и потеряли. Обоих участников давно уже нет в живых; свидетели же торжественно поклялись молчать. Я тоже поднимал руку, присягая, и чувствовал важность этого обряда со всей романтической серьезностью своих девяти-десяти лет. Не знаю, заметили ли остальные, что я давал слово; не знаю, насколько они сдержали свое. Как бы там ни было, вот мой рассказ со всеми неизбежными отклонениями, которыми он обязан истекшему времени и хорошей (или плохой) литературе.

В тот вечер мой двоюродный брат Лафинур взял меня отведать жаркого в «Лаврах» – загородном поместье кого-то из своих друзей. Не могу указать его точного расположения; пусть это будет один из тех зеленых и тихих северных пригородов, которые спускаются к реке и ничем не напоминают о громадной столице и окружающей ее равнине. Поезд шел так долго, что путь показался мне бесконечным, но, как известно, время для детей вообще течет медленней. Уже темнело, когда мы вошли в ворота поместья. Там, почудилось мне, все было древним, изначальным: аромат золотящегося мяса, дерева, собаки, хворост и объединивший мужчин костер.

Гостей я насчитал с дюжину, все – взрослые. Старшему, выяснилось потом, не было и тридцати. Каждый, как я вскоре понял, знал толк в предметах, на мой взгляд не стоивших серьезного разговора: скаковых лошадях, костюмах, автомобилях, дорогих женщинах. Никто не подтрунивал над моей робостью, меня не замечали. Барашек, мастерски и без суеты приготовленный одним из пеонов, надолго занял нас в просторной столовой. Поговорили о выдержке вин. Нашлась гитара; брат, помню, спел «Старый дом» и «Гаучо» Элиаса Регулеса, а потом – несколько десим на жаргоне, непременно лунфардо тех лет, о ножевой драке в заведении на улице Хунин. Принесли кофе и сигары. О возвращении домой не было и речи. Я почувствовал (говоря словами Лугонеса) страх, что уже слишком поздно, но не решился посмотреть на часы. Чтобы скрыть свое одиночество ребенка среди взрослых, я без удовольствия проглотил бокал другой. Уриарте громко предложил Дункану партию в покер один на один. Кто-то заметил, что это не слишком интересно, и убеждал сыграть вчетвером. Дункан согласился, но Уриарте с упорством, которого я не понял и не попытался понять, стоял на своем. Кроме труко, когда, по сути, коротают время за проделками и стихами, и незатейливых лабиринтов пасьянса, я не любил карт. Никем не замеченный, я выскользнул из комнаты. Незнакомый и сумрачный особняк (свет горел только в столовой) говорит ребенку больше, чем неведомая страна – путешественнику. Шаг за шагом я обследовал комнаты; помню бильярдный зал, галерею с прямоугольниками и ромбами стеклышек, пару кресел-качалок и окно, за которым виднелась беседка. В темноте я потерял дорогу; наконец на меня наткнулся хозяин дома, по имени, сколько теперь помню, что-то вроде Асеведо или Асеваль. По доброте или из коллекционерского тщеславия он подвел меня к застекленному шкафу. При свете лампы блеснуло оружие. Там хранились ножи, побывавшие не в одной славной переделке. Он рассказал, что владеет клочком земли в окрестностях Пергамино и собрал все это, колеся по провинции. Открыв шкаф и не глядя на таблички, он поведал мне истории всех экспонатов, похожие одна на другую и различавшиеся разве что местом и временем. Я поинтересовался, нет ли среди них ножа Морейры, слывшего в ту пору образцом гаучо, как потом Мартин Фьерро и дон Сегундо Сомбра. Он ответил, что

такого нет, но есть другой, не хуже, с полукруглой крестовиной. Вдруг слышались возбужденные голоса. Он мигом закрыл шкаф, я бросился за ним.

Уриарте вопил, что партнер шельмует. Остальные сгрудились вокруг. Дункан, помню, возвышался надо всеми, крепкий, сутуловатый, с бесстрастным лицом и светлыми, почти белыми волосами; Манеко Уриарте был юркий, темноголовый, вероятно, не без индейской крови, с жидкими задорными усиками. Все были заметно пьяны; не скажу, вправду ли на полу валялись две-три пустые бутылки, или эта мнимая подробность навеяна моей страстью к кино. Уриарте не замолкал, бранясь поначалу язвительно, а потом и непристойно. Дункан, казалось, не слышал; в конце концов, словно устав, он поднялся и ткнул Уриарте кулаком. Очутившись на полу, Уриарте заорал, что не спустит обидчику, и вызвал Дункана на дуэль.

Тот отказался и прибавил, как бы оправдываясь:

– Дело в том, что я тебя боюсь.

Все расхохотались.

Уриарте, уже встав на ноги, отрезал:

– Драться, и сейчас же.

Кто-то – прости ему Бог – заметил, что оружие искать недалеко.

Не помню, кто открыл шкаф. Манеко Уриарте взял себе клинок поэффектнее и подлиннее, с полукруглой крестовиной; Дункан, почти не глядя, – нож с деревянной ручкой и клеймом в виде куста на лезвии. Выбрать меч, вставил кто-то, вполне в духе Манеко: он любит играть наверняка. Никто не удивился, что в этот миг его рука дрогнула; все были поражены, когда то же произошло с Дунканом.

Традиция требует, чтобы решившие драться уважали дом, где находятся, и покинули его. То ли в шутку, то ли всерьез мы вышли в сырую ночь. Я захмелел, но не от вина, а от приключения; мне хотелось, чтобы на моих глазах совершилось убийство и я мог рассказывать и помнить об этом. Кажется, в тот миг взрослые сравнились со мной. И еще я почувствовал, как нас опрокинуло и понесло неумолимым водоворотом. Я не слишком верил в обвинения Манеко; все считали, что дело здесь в давней вражде, подогретой вином.

Мы прошли под деревьями, миновали беседку. Уриарте и Дункан шагали рядом; меня удивило, что они следят друг за другом, словно опасаясь подвоха. Обогнули лужайку. Дункан с мягкой решимостью уронил:

– Это место подойдет.

Двое замерли в центре. Голос крикнул:

– Бросьте вы эти железки, давайте рукопашную!

Но мужчины уже схватились. Сначала они двигались неуклюже, как будто боялись пораниться; сначала каждый смотрел на клинок другого, потом уже – только в глаза. Уриарте забыл свою вспыльчивость, Дункан – свое безучастье и презрение. Опасность преобразила их: теперь сражались не юноши, а мужчины. Я воображал себе схватку хаосом стали, но, оказалось, мог следить – или почти следить – за ней, словно это была шахматная партия. Конечно, годы подчеркнули или стерли то, что я тогда видел. Сколько это длилось, не помню; есть события, которые не умещаются в привычные мерки времени.

Вместо пончо, которыми в таких случаях заслоняются, они подставляли ударам локти. Вскоре исполосованные рукава потемнели от крови. Пожалуй, мы ошибались, считая их новичками в подобном фехтовании. Тут я заметил, что они ведут себя по-разному. Оружие было слишком неравным. Чтобы сократить разрыв, Дункан старался подойти ближе; Уриарте отступал, нанося длинные удары снизу. Тот же голос, который напомнил о шкафе, прокричал:

– Они убьют друг друга! Разнимите их!

Никто не двинулся с места. Уриарте попятился. Дункан атаковал. Тела их почти соприкасались. Нож Уриарте тянулся к лицу Дункана. Вдруг, словно укоротившись, вошел ему в грудь. Дункан вытянулся в траве. И прошептал, почти выдохнул:

– Как странно! Точно во сне.

Он не закрыл глаз и не шелохнулся. Я видел, как человек убил человека.

Манеко Уриарте склонился над мертвым, прося у него прощения. Он плакал не скрываясь. То, что произошло, свершилось помимо него. Теперь я понимаю: он раскаивался не столько в злодеянии, сколько в бессмысленном поступке.

Смотреть на это не было сил. То, чего я так желал, случилось и раздавило меня. Потом Лафинур рассказывал, что им пришлось потрудиться, извлекая нож. Стали совещаться. Решили лгать как можно меньше и облагородить схватку на ножах, выдав ее за дуэль на шпагах. Четверо, включая Асевалю, предложили себя в секунданты. В Буэнос-Айресе все можно устроить: друзья есть везде.

На столе из каобы осталась куча английских карт и кредиток. Их не хотели ни трогать, ни замечать.

Позже я не раз подумывал довериться кому-нибудь из друзей, но снова чувствовал, насколько заманчивее владеть тайной, чем раскрывать ее. Году в тысяча девятьсот двадцать девятом случайный разговор вдруг подтолкнул меня нарушить долгое молчание. Отставной полицейский комиссар дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках, заправлявших в низине Ретиро; этот народ, заметил он, не гнушался ничем, лишь бы одолеть соперника, но до Гутьерреса и братьев Подеста об открытых схватках здесь почти не слыхали. Я возразил, что был свидетелем одной из таких, и рассказал ему о событиях почти двадцатилетней давности.

Он слушал с профессиональным вниманием, а потом спросил:

– Вы уверены, что ни Уриарте, ни другой, как его там, раньше не брали ножа в руки? В конце концов, они могли чему-то научиться у себя в поместьях.

– Не думаю, – ответил я. – Все в тогдашней компании хорошо знали друг друга, но для всех это было полной неожиданностью.

Олаве продолжал, не спеша и словно размышляя вслух:

– Нож с полукруглой крестовиной... Прославились два таких ножа: Морейры и Хуана Альмады из Тапалькена.

Что-то ожило у меня в памяти. Дон Хосе добавил:

– Еще вы упомянули нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика. Таких известны тысячи, но один... – Он на минуту смолк и потом продолжил: – Имение сеньора Асеведо находилось в окрестностях Пергамино. По тем местам бродил в конце века еще один известный задира, Хуан Альманса. С первого своего убийства – в четырнадцать лет – он не расставался с таким коротким ножом: тот приносил ему удачу. Хуан Альманса и Хуан Альмада терпеть не могли друг друга, видно, потому, что их путали. Они долго искали встречи, но так и не сошлись. Хуан Альмансу убило шальной пулей на каких-то выборах. Другой, кажется, умер своей смертью на больничной койке в Лас-Флорес.

Больше мы не обменялись ни словом. Каждый думал о своем.

Девять-десять теперь уже мертвых мужчин видели то, что и я видел своими глазами, – клинок, вошедший в тело, и тело, простертое под небом, – но, оказывается, мы видели завершение совсем другой, куда более давней истории. Это не Манеко Уриарте убил Дункана: в ту ночь сражались не люди, а клинки. Они покоились рядом, в одном шкафу, пока руки не разбудили их. Наверно, они шевельнулись в миг пробуждения; вот почему задрожала рука Уриарте, вот почему задрожала рука Дункана. Они знали толк в сражениях – они, а не их оружие, люди, – и сражались в ту ночь как должно. Давным-давно искали они друг друга на длинных дорогах захолустья и наконец встретились, когда носившие их гаучо уже обратились в прах. В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба.

Вещи переживают людей. И кто знает, завершилась ли их история, кто знает, не приведет ли им встретиться снова.

Хуан Муранья

Много лет я не устал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством; на самом деле я вырос за железными копиями длинной решетки, в доме с садом и книгами моего отца и предков. Палермо ножей и гитар (уверяли меня) ютился в любой пивной, в 1930 году я посвятил специальную работу Эваристо Каррье, нашему соседу, обожателю и певцу окраин. Вскоре случай столкнул меня с Эмилио Трапани. Я направлялся поездом в Морон; Трапани, сидевший у окна, окликнул меня по имени. Я не сразу узнал его: с тех пор как мы сидели за одной партой в школе на улице Темзы, прошел не один десяток лет. Его наверняка помнит Роберто Годель.

Мы никогда не были особенно близки. Время и взаимное безразличие развели нас еще дальше. Помню, он посвящал меня в начатки тогдашнего лунфардо. Завязался один из тех тривиальных разговоров, когда силишься извлечь из памяти бесполезные факты и обнаруживаешь, что твой одноклассник, в сущности, умер, оставив по себе только имя. Неожиданно Трапани сказал:

– Мне дали прочесть твою книжку о Каррье. Ты там все толкуешь о временах головорезов. Откуда тебе-то, Борхес, знать о головорезах?

Он посмотрел на меня с простодушным изумлением.

– Я изучал документы.

Он прервал:

– Документы – это слова. Мне документы ни к чему. Я знаю самих этих людей. – Минуту помолчав, он добавил, словно открывая секрет: – Я – племянник Хуана Мураньи.

Из поножовщиков Палермо девяностых годов Муранья был самым известным. Трапани пояснил:

– Моя тетушка Флорентина была его женой. Это может тебя заинтересовать.

Прорывавшийся кое-где риторический пафос и некоторые слишком длинные фразы наводили на мысль, что он рассказывает свою историю не впервые.

– Матери всегда не нравилось, что сестра связала жизнь с Хуаном Мураньей: он так и остался для нее грубым животным, а для тети Флорентины был человеком действия. О его кончине ходили разные слухи. Иные уверяли, что как-то ночью, мертвецки пьяный, он вывалился из своей коляски на углу улицы Коронель и размозжил голову о камень. Рассказывали еще, что его искала полиция и он бежал в Уругвай. Моя мать, никогда не переживавшая за своего зятя, ничего мне не объясняла. А я был еще мал и не помнил его.

В год столетнего юбилея мы жили в переулке Рассела, в длинном и тесном особняке. Черный ход, обычно закрытый на ключ, вел на улицу Святого Сальвадора. Тетушка, тогда уже в годах и со странностями, ютилась в комнатке наверху. Худая и ширококостная, она была – или казалась мне – очень рослой и чаще молчала. Не терпя свежего воздуха, тетя не покидала дома и не любила, когда входили к ней. Я не раз замечал, как она таскает и прячет пищу со стола. В квартале поговаривали, что после смерти или исчезновения Мураньи она слегка помешалась. Помню ее всегда в черном. Еще у нее была привычка разговаривать с собой.

Обособняк принадлежал некоему сеньору Лучесси, хозяину цирюльни в районе Барракас. Мать шила на дому, но дела наши были плохи. Не понимая всего, я ловил произносимые шепотом слова «судебная повестка», «опись имущества», «выселение за неуплату». Мать впала в уныние, а тетя упорно твердила: «Хуан не допустит, чтобы какой-то гринго вышвырнул нас на улицу». Каждый раз – мы уже знали это наизусть – она рассказывала, что произошло с одним наглецом из южных кварталов, который позволил себе усомниться в храбрости ее мужа. Узнав об этом, Муранья не пожалел времени, добрался до другого конца города, отыскал нахала,

прикончил его ударом ножа и сбросил труп в Риачуэло. Был ли такой случай на самом деле, не знаю; важно, что его рассказывали и верили в него.

Засыпая, я уже видел себя беспризорником, ночующим на пустырях улицы Серрано, попрошайкой или разносчиком персиков. Последнее мне даже нравилось, поскольку освобождало от школьных занятий.

Не помню, сколько длились наши тревоги. Твой покойный отец как-то сказал при мне, что время не делится на дни, как состояние – на сентаво или песо: все песо одинаковы, тогда как любой день, а то и любой час – иные. Вряд ли я тогда понял, что он имел в виду, но фраза врезалась в память.

Однажды ночью я увидел сон, закончившийся кошмаром. Мне приснился дядя Хуан. Я не знал его, но воображал коренастым, с примесью индейской крови, редкими усами и спутанной шевелюрой. Мы шли на Юг через каменоломни и бурьян, но и бурьян, и каменоломни были улицей Темзы. Солнце стояло высоко. Дядя Хуан был в черном. Он остановился перед какими-то мостками через расщелину. Руку он держал под пиджаком, у сердца, но как будто не вытаскивая, а, наоборот, пряча оружие. Печальным голосом он сказал: «До чего я переменился». Он вынул руку, и я увидел ястребиные когти. Я с криком очнулся в темноте.

Наутро мать приказала проводить ее к Лучесси. Я знал, что она идет просить отсрочки и, наверное, берет меня с собой, чтобы домохозяин увидел ее беззащитность. Сестре она не сказала ни слова: та ни за что бы не позволила ей так унижаться. Раньше я не бывал в Барракасе, мне казалось, что там куда многолюдней, больше лавок и меньше заброшенных участков. Повернув за угол, мы увидели возле нужного нам дома полицию и толпу. Переходя от группы к группе, один из местных рассказывал, что в три часа утра проснулся от стука; он слышал, как дверь дома открылась и кто-то вошел. Дверь осталась незапертой, а утром полуодетого Лучесси нашли лежащим в прихожей. Его закололи ножом. Он жил один, виновных не обнаружили. В доме ничего не пропало. Кто-то вспомнил, что в последнее время убитый почти совсем ослеп. Другой веско добавил: «Видно, пришел его час». Слова и тон произвели на меня впечатление; с годами я убедился, что в таких случаях всегда отыскивается резонер, делающий подобное открытие.

Собравшиеся у гроба предложили нам кофе, я взял чашку. В ящике вместо покойника лежала восковая кукла. Я сказал об этом матери; один из присутствовавших улыбнулся и объяснил, что эта кукла в черном и есть сеньор Лучесси. Ошеломленный, я встал посмотреть. Матери пришлось дернуть меня за руку.

Долгие месяцы все вокруг ни о чем другом не говорили. Убийства в ту пору случались редко: вспомни, сколько шума поднялось из-за дела Мелены, Кампаны и Сильетеро. Единственным человеком в Буэнос-Айресе, кто и бровью не повел, была тетушка Флорентина. Со старушечьим упрямством она повторяла:

– Говорила я вам, что Хуан не позволит какому-то гринго выставить нас на улицу.

Однажды утром ливня лил дождь. В школу я идти не мог и рыскал по дому. Так я попал наверх. Тетушка сидела сложив руки; казалось, она отсутствует. Комнатка пропахла сыростью. В одном углу была железная кровать с четками, перекинутыми через спинку, в другом – деревянный сундук для платья. На беленой стене висела дешевая литография, изображавшая Богоматерь. На ночном столике торчал подсвечник.

Не поднимая глаз, тетушка сказала:

– Знаю, зачем ты пришел. Тебя послала твоя мать. Ей все невдомек, как это Хуану удалось нас спасти.

– Хуану? – растерялся я. – Хуан умер десять лет назад.

– Хуан здесь, – возразила она. – Хочешь посмотреть на него?

Она выдвинула ящик стола и достала нож. И уже помягчевшим голосом добавила:

– Вот он. Я знала: он меня не покинет. Второго такого не было на свете. Он не дал гринго и духа перевести.

И только тут я все понял. Эта жалкая, выжившая из ума старуха убила Лучесси. Одержимая ненавистью, безумием, а может быть, любовью, – кто знает? – она выбралась через черный ход, темной ночью одолела улицу, нашла наконец нужный дом и вот этими большими костлявыми руками воткнула нож. Нож был Мураньей, мертвым, которого она по-прежнему боготворила.

До сих пор не знаю, открылась ли тетушка моей матери. Перед самым нашим выселением она умерла.

Здесь Трапани закончил свой рассказ. Больше мы не виделись. В истории этой женщины, вдовы, которая спутала своего мужа – своего тигра – с оставшейся от него вещью, орудием его жестокости, мне чудится некий символ. Человек по имени Хуан Муранья проходил когда-то по улицам моего детства, он познал то, что должен познать каждый, и в конце концов изведal вкус смерти, чтобы потом обратиться в нож, сегодня – в воспоминание о ноже, а завтра – в забвение, которого не избегнет никто.

Старшая сеньора

14 января 1941 года Марии Хустине Рубио де Хауреги исполнилось сто лет. Она была единственной из еще оставшихся детей борцов за Независимость.

Ее отец, полковник Мариано Рубио, был человеком, которого, без ущерба для его достоинства, можно назвать младшим Освободителем. Родившийся в приходе храма Мерсед, в семье скотоводов провинции Буэнос-Айрес, он был произведен в чин знаменосца Андской армии, сражался под Чакабуко, в проигранной битве в Канча-Раяда, в Майпу и спустя два года при Арекипе. Рассказывают, что накануне этого последнего боя Хосе де Олаварриа и он обменялись шпагами. В начале апреля 1823 года происходит знаменитая битва у Серро-Альто, которую, поскольку она разыгралась в долине, нередко называют также битвой у Серро-Бермехо. Венесуэльцы, постоянно завидующие нашей славе, приписывают победу генералу Симону Боливару, однако беспристрастный наблюдатель, аргентинский историк, не даст ввести себя в заблуждение – он твердо знает, что лавры этой победы принадлежат полковнику Мариано Рубио. Именно он во главе полка колумбийских гусар решил неясный исход рукопашной, сабли и пики которой подготовили не менее знаменитую битву при Аякучо, где он также участвовал и был ранен. В 1827 году ему посчастливилось отличиться при Итусаинго под непосредственным командованием Альвеара. Несмотря на родство с Росасом, он был человеком Лавалье и однажды рассеял отряд «монтонеры» в бою, который обычно называл «сечей». После поражения унитариев эмигрировал в Восточное государство и там женился. Во время Великой войны он скончался в Монтевидео, осажденном «белыми» под командованием Орибе. Было ему тогда около сорока четырех лет, по тем временам почти старость. Он был другом Флоренсио Варелы. Вполне вероятно, что преподаватели Военного училища срезали бы его с первых же слов, – он прошел основательный курс сражений, но не сдал ни одного экзамена. У него остались две дочери, из которых у нас речь идет о младшей, Марии Хустине.

В конце 1853 года вдова полковника с дочками поселилась в Буэнос-Айресе. Конфискованное тираном поместье им не вернули, однако в семье хранилось воспоминание об утраченных и никогда не виденных землях. Мария Хустина семнадцати лет вышла замуж за доктора Бернардо Хауреги, который, хотя и был человеком штатским, участвовал в боях у рек Павон и Сепеда и погиб, исполняя свой профессиональный долг во время эпидемии желтой лихорадки. Он оставил сына и двух дочерей. Первенец Мариано служил налоговым инспектором и часто навещался в Национальную библиотеку и в архив, мечтая написать подробную биографию деда-героя, но так и не завершил ее, а возможно, и не начал. Старшая из сестер, Мария Эльвира, вышла за кузена по фамилии Сааведра, чиновника Министерства финансов; младшая, Хулия, стала женой некоего сеньора Молилари, который, несмотря на итальянскую фамилию, преподавал латинский язык и был весьма образованным человеком. О внуках и правнуках я говорить не буду – достаточно, если у читателя составилось впечатление о семье почтенной и обедневшей, окруженной эпическим ореолом и возглавляемой родившейся на чужбине дочерью героя.

Они скромно жили в Палермо, недалеко от церкви Святой Девы Гваделупской, в месте, откуда, как вспоминал Мариано, он из трамвая компании «Ла Гран Насьональ» видел воды лагуны, подходившие к кирпичным неоштукатуренным домишкам, однако не к халупам из жестяных листов: прежняя бедность была менее бедной, нежели та, которую нам ныне преподносит индустриальный век. Да и состояния богачей были поменьше.

Семейство Рубио занимало верх двухэтажного дома над галантерейным магазином. Узкая боковая лестница вела в крытую галерею, продолжением которой была передняя, где стояла вешалка и несколько стульев. Из передней вы переходили в небольшую гостиную с мягкой мебелью, а из гостиной – в столовую с мебелью красного дерева и горкой. Сквозь метал-

лические жалюзи, всегда опущенные для защиты от солнца, струился неяркий свет. Мне вспоминается какой-то особый запах старинных вещей. В глубине квартиры находились спальни, ванная, каморка с раковиной для стирки и комнатка прислуги. Во всей квартире не было иных книг, кроме томика Андраде, монографии о герое с рукописными дополнениями и испано-американского словаря Монтанера и Симона, приобретенного потому, что он продавался в рассрочку да еще со специальной полочкой. Семья существовала на пенсию, всегда запаздывавшую, и на арендную плату с земельного участка, единственного остатка прежде обширного поместья в Ломас-де-Самора.

В то время, к которому относится мой рассказ, старшая сеньора жила с овдовевшей Хулией и ее сыном. Она по-прежнему проклинала Артигаса, Росаса и Уркису; первая европейская война, внушившая ей ненависть к немцам, о которых она очень мало знала, была для нее менее реальной, чем переворот девяностого года и атака у Серро-Альто. С 1932 года она постепенно угасала – обычные метафоры уместней всего, только они и правдивы. Разумеется, она была католичкой, но это не означает, что она верила в Единого Бога, который Один и в то же время Три, и даже в бессмертие души. Перебирая четки, она бормотала молитвы, которых не понимала. Рождество было для нее более важным праздником, чем Пасха и Поклонение волхвов, равно как чай она предпочитала мате. Слова «протестант», «иудей», «масон», «еретик», «атеист» были для нее синонимами, ничего конкретного не означающими. Пока могла говорить, она, по примеру своих родителей, называла испанцев «готами». В 1910 году никак не хотела поверить, что инфанта – в конце концов, особа королевской крови – вопреки всем предположениям говорит как обычная галисийка, а не как аргентинская сеньора. Эту удручающую новость ей на похоронах зятя сообщила богатая родственница, которая никогда не бывала у нее в доме, но имя которой они жадно высматривали в светской хронике газет. Названия улиц сеньора де Хауреги всегда употребляла старые: она говорила об улице Артес, улице Темпле, улице Буэн-Орден, улице Пьедад, о двух Кальес-Ларгас, о площадях Парке и Портонес. Все домочадцы упорно держались этих архаизмов, и в их устах они звучали естественно. Вместо «уругвайцы» они говорили «восточные». Старшая сеньора не выходила из дому – вероятно, она не подозревала, что Буэнос-Айрес изменяется и растет. Первые впечатления – самые стойкие: город, который старшая сеньора представляла себе по ту сторону входной двери, наверняка был гораздо старше города тех лет, когда им пришлось переехать из центра. Тогда на площади Онсе отдыхали выпряженные из повозок быки, и в палисадниках Барракаса благоухали увядающие фиалки. «Я вижу во сне только покойников», – была одна из последних произнесенных ею фраз. Тупой ее никто бы не назвал, но, насколько мне известно, интеллектуальные радости были ей чужды – у нее оставались лишь те радости, которые доставляет память, а затем – забвение. Она всегда отличалась щедростью. Вспоминаю ее спокойные глаза и улыбку. Кто может знать, какие страсти бушевали в груди у этой старушки, когда она была молода и хороша собой. Она любила цветы, чья тихая, безмолвная жизнь походила на ее жизнь, и ухаживала за бегониями в своей комнате, трогала листья, уже не видя их. До 1929 года, когда она погрузилась в полузабытье, она рассказывала об исторических событиях, но всегда одними и теми же словами и в том же порядке, будто «Отче наш», и я подозревал, что эти слова уже не соответствуют истинной картине событий. К еде она была безразлична, ела, что подавали, и в целом была счастлива.

Как известно, сон – наиболее таинственное из наших состояний. Мы отдаем ему третью часть жизни, но не понимаем его. Для одних он всего лишь перерыв в бодрствовании, для других – более сложное состояние, охватывающее вчера, сегодня и завтра, для третьих – непрерывный ряд сновидений. Сказать, что сеньора де Хауреги провела десять лет в подобном тихом хаосе, было бы, пожалуй, неверно, – вероятно, каждое мгновение этих десяти лет виделось ей чистым настоящим, без «до» и «после». Не будем слишком удивляться такому настоящему, которое мы измеряем днями и ночами, и сотнями листов многих календарей, и нашими тре-

вогами и делами, – подобное настоящее мы переживаем каждое утро перед пробуждением и каждый вечер, когда засыпаем. Все мы каждый день дважды уподобляемся старшей сеньоре.

Как мы могли убедиться, семья Хауреги находилась в несколько ложном положении. Они полагали, что принадлежат к аристократии, однако особы высшего света их игнорировали; они были потомками героя, однако учебники истории обычно не упоминали его. Правда, его имя носила одна из улиц, но улица эта, мало кому известная, терялась где-то за Западным кладбищем.

Торжественная дата приближалась. 10-го числа военный в мундире принес письмо, подписанное самим министром, с извещением о его предстоящем визите 14-го; письмо давали читать всем соседям, обращая их внимание на штамп министерства и подлинную подпись министра. Вскоре затем набежали репортеры, готовившиеся писать о событии. Им предоставили все данные – было очевидно, что они никогда не слыхали о полковнике Рубио. Малоизвестные люди звонили по телефону, напрашиваясь на приглашение.

Семья усердно готовилась к великому дню. Натерли воском полы, вымыли окна, сняли чехлы с люстр, отполировали красное дерево и открыли пианино в гостиной, чтобы была видна бархатная полоска на клавиатуре. Все суеились, сновали туда-сюда. Единственным человеком, безразличным к суматохе, была сеньора де Хауреги – казалось, она ничего не понимала, только улыбалась. Хулия с помощью служанки вырядила ее, словно покойницу. Первое, что должны были увидеть посетители при входе, был написанный маслом портрет героя и, чуть ниже и правее, его сабля, побывавшая во многих сражениях. Даже в периоды безденежья семья отказывалась ее продать, намереваясь со временем передать в дар историческому музею. Одна из самых любезных соседок одолжила по такому случаю горшок с геранью.

Торжество назначили на семь часов. При этом предполагалось, что соберутся в половине восьмого, – ведь кому охота приходить раньше всех, «зажигать свечи». В десять минут восьмого еще никого не было, и домочадцы обсуждали плюсы и минусы непунктуальности. Эльвира, гордившаяся тем, что всегда приходит вовремя, сказала, что заставлять себя ждать – это непростительное неуважение. Хулия, повторяя слова покойного мужа, возразила, что приходить чуть позже – это признак учтивости; если и гости, и хозяева не торопятся, всем удобнее. В четверть восьмого народу нахлынуло столько, что яблоку негде было упасть. Весь околоток мог с завистью смотреть на автомобиль сеньоры Фигероа и на ее шофера, и, хотя она никогда не приглашала к себе семейство Хауреги, встретили ее пылкими объятиями, чтобы никто не заподозрил, что видятся они раз в год по обещанию. Президент прислал своего помощника, весьма обходительного господина, сказавшего, что для него большая честь пожать руку дочери героя Серро-Альто. Министру надо было уехать пораньше, он произнес отменно остроумную речь, где, однако, больше говорилось о Сан-Мартине, нежели о полковнике Рубио. Старушка сидела в кресле, опираясь на подушки, и время от времени кивала и роняла веер. Хор знатных сеньор «Дамы Отечества» пропел ей гимн, который она, казалось, не слышала. Фотографы располагали присутствующих в живописные группы и не скупились на вспышки. Рюмки с портвейном и хересом не удовлетворили гостей. Откупили несколько бутылок шампанского. Сеньора де Хауреги не произнесла ни слова – возможно, она уже не понимала, кто она. После этого вечера она больше не вставала с кровати.

Когда чужие люди разошлись, домочадцы устроили маленький импровизированный холодный ужин. Ароматы сигар и кофе быстро заглушили легкий запах спиртного.

Утренние и дневные газеты честно ввали: они превозносили почти сказочную память дочери героя, «которая является красноречивым архивом целого века аргентинской истории». Хулия попыталась показать ей эти заметки. Старая сеньора все так же неподвижно лежала в полумраке с закрытыми глазами. Жара не было, врач, осмотрев ее, заявил, что все в порядке. Через несколько дней она умерла. Нашествие толпы людей, непривычная суэта, вспышки, речи,

мундиры, бесконечные рукопожатия, выстрелы шампанского ускорили кончину. Возможно, ей чудилось, что это нагрянула «Масорка».

Я думаю о погибших у Серро-Альто, думаю о забытых воинах Америки и Испании, polegших под конскими копытами, думаю, что последней жертвой кровопролитного похода в Перу стала, через столетие, также одна престарелая сеньора.

Поединок

Хуану Освальдо Вивиано

Возможно, Генри Джеймсу – чей труд подарил мне одну из двух моих героинь, сеньору Фигероа, – эта история пришлась бы по вкусу. Он бы не пожалел для нее доброй сотни иронических, тонких страниц, наполненных сложными, расчетливо многозначными диалогами. Думаю, он внес бы в нее оттенок мелодрамы. Происходи случившееся в Лондоне или Бостоне, по сути, все было бы ровно так же. Но оно происходило в Буэнос-Айресе, там я его и оставляю. Коротко передам сам сюжет: постепенное развитие действия и его светская среда слишком далеки от моих литературных привычек. Так что диктовать этот рассказ для меня – что-то вроде скромного приключения, шаг в сторону. Должен предупредить читателя: эпизоды происходящего значат здесь куда меньше, чем общая ситуация и характеры героев.

Клара Гленкерт де Фигероа была горделивой, статной, огненно-рыжей. Больше догадливая, чем умная, она не столько обладала талантами сама, сколько умела ценить их в другом и даже в другой. Всегда отличалась благожелательностью. Радовалась разнообразию, почему, вероятно, и любила путешествовать. Она понимала, что выпавшая ей жизнь – достаточно случайное сочетание обрядов и церемоний, но эти обряды были ей по душе, и она их с достоинством исполняла. Родители рано выдали ее за доктора Исидро Фигероа, который был нашим послом в Канаде, а затем отказался от должности, сочтя, что в эпоху телеграфа и телефона посольская служба – полный анахронизм и бессмысленный груз. Его поступок задел коллег; Кларе нравился климат Оттавы (в конце концов, по крови она была шотландкой), обязанности супруги посла ее тоже не тяготили, но ей и в голову не пришло спорить. Вскоре Фигероа умер. После нескольких лет замешательства и внутренних метаний Клара – возможно, по примеру своей подруги Марты Писарро – решила учиться живописи.

Главным в Марте Писарро было то, что для всех она оставалась сестрой блистательной Нелиды, которая была когда-то замужем, а теперь жила в разводе.

Прежде чем взяться за кисть, Марта Писарро подумывала о литературе. Она бегло владела французским, на котором обычно читала; испанский оставался для нее подручным инструментом в домашних надобах, вроде гуарани для сеньора из провинции Корриентес. Газеты страницами предлагали местного Лугонеса и мадридца Ортегу-и-Гассета; стиль обоих мастеров укрепил Марту в подозрении, что предназначенный ей язык создан не столько для выражения мыслей и чувств, сколько для тщеславной трескотни. О музыке она знала лишь то, что известно любому аккуратному посетителю концертов. Родом из Сан-Луиса, она начала с заботливо написанных портретов Хуана Крисостомо Лафинура и полковника Паскуаля Принглеса, заблаговременно приобретенных тамошним музеем. От провинциальных светил Марта перешла потом к домам старого Буэнос-Айреса, чьи скромные дворики изображала скромными красками, избегая живописных сценических эффектов, к которым прибегали другие. Кто-то – насколько известно, не сеньора Фигероа – сказал, что в искусстве она идет от генуэзских мастеров девятнадцатого века. Между Кларой Гленкерт и Нелидой Сара (которая, по слухам, пользовалась некоторым вниманием доктора Фигероа) всегда существовало соперничество; может быть, Марта была лишь оружием в их поединке.

Как известно, все события происходят за рубежом и только потом докатываются до нас. Секта живописцев, сегодня настолько несправедливо забытых, что никто не помнит, называли они свою манеру (демонстративно презирая логику и язык) конкретной или абстрактной, – не была исключением. Кажется, они стояли на том, что если музыке позволено творить свой мир чистых звуков, то и ее сестра-живопись вправе пользоваться цветом и формой, которые не ставят задачу воспроизводить то, что видит глаз. Ли Каплан писал, что его полотна, которые

так возмущают буржуазию, чтят библейский, поддержанный позднее исламом запрет создавать руками человека подобию живых существ. Иконоборцы, убеждал он, восстанавливают подлинную традицию искусства живописи, извращенную еретиками вроде Дюрера или Рембрандта. В ответ противники обвиняли его в подражании таким образцам, как ковры, калейдоскопы и галстуки. Художественные революции соблазняют свободой и легкостью; Клара Гленкерт выбрала абстрактную манеру. Она всегда исповедовала культ Тёрнера и теперь решила обогатить конкретную живопись его смутными озарениями. Трудилась она без спешки, многое отвергала, переписывала и в январе 1954 года выставила серию работ темперой в зале на улице Суипача, который, если прибегнуть к модной в ту пору военной метафоре, специализировался на авангарде. Произошла парадоксальная вещь: критика в целом встретила выставку благосклонно, а вот официальный рупор секты осудил эти ни на что не похожие формы, которые, хоть и не были фигуративной живописью, вызывали в памяти смятение облаков, леса или моря, но нимало не стремились к неумолимости окружностей и прямых. Первой этому приговору улыбнулась сама Клара. Она мечтала быть современной, но современники ее отвергли. Работа всегда интересовала ее больше, чем результат, поэтому она продолжала работать. Миновав этот эпизод, ее живопись шла своим путем.

В ту пору и начался тайный поединок. Марта живописью не ограничивалась; настойчиво интересуясь тем, что точнее всего описывается словами «надзор над искусством», она была в так называемом Кружке Джотто помощником секретаря. К середине 1955 года она добилась очередной победы: давний член Кружка, Клара была введена в состав нового руководства с правом решающего голоса. Это происшествие, само по себе мелкое, не стоит упускать из виду. Марта всячески поддерживала подругу, но неоспоримый, хотя и загадочный факт состоит в том, что покровитель всегда так или иначе возвышается над своим ставленником.

В шестидесятом году за первую национальную премию боролись – да простят нам подобный жаргон – «две кисти международного уровня». Старший кандидат посвятил серию писанных маслом парадных полотен изображению ужасающих гаучо скандинавских статей; его достаточно молодой соперник снискал аплодисменты и возмущенные крики прилежной передачей невнятицы. Члены жюри, люди далеко за пятьдесят, побаивались, как бы их не заподозрили в старомодных вкусах, и уже было готовились проголосовать за второго, которого в глубине души не принимали. Упорные дебаты, начавшиеся с церемонной вежливости и закончившиеся взаимным отвращением, согласия не принесли. Дискуссия пошла на третий круг, и тут один из участников сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.